

## По поводу нового труда С. А. Алексѣева (Аскольдова) „Мысль и Дѣйствительность“.

С. А. Алексѣевъ (Аскольдовъ) не является начинаящимъ философомъ: это крупный мыслитель съ извѣстнымъ именемъ и съ упроченной философской репутацией. Въ цѣломъ рядъ произведений и статей онъ успѣлъ уже обрисовать свое своеобразное философское міросозерцаніе и ярко обнаружить особенности своего философскаго таланта. Его новый трудъ «Мысль и Дѣйствительность» представляетъ одно изъ интереснѣйшихъ и важнѣйшихъ его сочиненій. Въ немъ нашли живое и разнообразное выраженіе оригинальность его ума, проницательность и глубина производимыхъ имъ анализовъ, тонкость и неотразимая убѣдительность критики, смѣлая широта философскихъ замысловъ. Наконецъ, нельзя обойти и ту существенную особенность его новой книги, что въ ней авторъ отказался отъ многихъ прежнихъ взглядовъ и оцѣнокъ и впервые набросалъ совсѣмъ новая взорѣнія въ нѣкоторыхъ весьма серьезныхъ пунктахъ. Все это дѣлаетъ сочиненіе С. А. Алексѣева не только очень солиднымъ и дорогимъ вкладомъ въ русскую философскую литературу, но и обеспечиваетъ его работѣ отзывчивое вниманіе всѣхъ, для кого небезразличны принципіальные философскіе вопросы.

Мнѣ кажется, я не ошибусь, если скажу, что наиболѣе сильную сторону автора «Мысли и Дѣйствительности» составляетъ выдающійся критический даръ. Его разборъ столь популярной между представителями философской мысли въ наше время теоріи чистой имманентности человѣческаго познанія превосходенъ и сохраняетъ свое значеніе независимо отъ того, къ какимъ направленіямъ и школамъ принадлежать читатели. Его критика ученій, обращающихъ познаваемый міръ въ неотдѣлимый элементъ или порожденіе нашего сознанія и мышленія, настолько обстоя-

тельна, вдумчива и остроумна, что ее можно было бы признать всецѣло исчерпавшей свою задачу, еслибъ только она была ярче сосредоточена на своихъ основныхъ положеніхъ, и еслибъ она не терялась иногда въ чрезмѣрныхъ деталяхъ и тонкостяхъ, нѣсколько ослабляющихъ общее впечатлѣніе. Все-таки я думаю, что первая часть книги, уже сама по себѣ взятая, представляетъ большое философское дѣло и большую философскую заслугу, и можно надѣяться, что многихъ чистосердечныхъ и серьезныхъ искателей истины она пробудить отъ догматического сна трансцендентального идеализма въ его современныхъ формахъ. Однако приходится отмѣтить въ этой критикѣ и важный недостатокъ: я разумѣю нѣкоторую узость кругозора въ выборѣ оцѣниваемыхъ философскихъ авторитетовъ. Панлогистический взглядъ на познаніе, превращеніе познаваемой дѣйствительности въ продуктъ или неотдѣлимый предметъ чистой мысли, не составляетъ исключительного достоянія современности и не покрывается именами Шуппе, Риккерта, Ласка, Когена, Наторпа, Кассирера и Н. О. Лосскаго. Панлогизмъ возникъ гораздо раньше ихъ и, смѣю думать, въ нѣкоторая эпохи даже недалекаго прошлаго онъ развивался съ гораздо большою послѣдовательностью и гениальностью;—достаточно назвать Фихте въ его первой системѣ и Гегеля. Наконецъ, такъ называемый имманентный взглядъ на познаніе есть совершенно принципіальная и законченная точка зрѣнія на него. Почему бы ея и не обсудить принципіально, по ея логическому существу, со всѣмъ вниманіемъ и всесторонне разсмотрѣть ея неизбѣжныя послѣдствія и ея единственно возможныя предпосылки. Этимъ бы авторъ только облегчилъ и уяснилъ свою задачу: ему легче было-бы найтись среди невольной пестроты, а иногда и случайности, индивидуальныхъ формъ, въ которыхъ облеклась эта принципіальная точка зрѣнія у нашихъ современниковъ, живыхъ или недавно умершихъ. Ему не пришлось бы повторяться или слишкомъ углубляться въ мало говорящія детали и частности. Между тѣмъ С. А. Алексѣевъ не только этого не сдѣлалъ, но настолько сузилъ горизонтъ, своего изслѣдованія, что даже на философіи Канта, этого родонаучальника разбираемаго движенія, остановился очень мало, ограничившись самыми общими характеристиками и замѣчаніями (стр. 16 — 24). Даже между современными намъ авторитетами онъ дѣлаетъ выборъ нѣсколько странный; такъ одно изъ самыхъ

первыхъ мѣстъ въ его критикѣ занимаетъ Н. О. Лосскій: разсмотрѣнію его воззрѣній посвящается почти цѣлая глава (VI) и въ дальнѣйшемъ изложеніи С. А. возвращается къ нему при малѣйшемъ поводѣ. Я высоко ставлю Н. О. Лосскаго и очень уважаю его, какъ ученаго человѣка и весьма даровитаго мыслителя. Но дѣло идетъ, конечно, не о его личныхъ качествахъ. Я беру собственный замѣчанія С. А. Алексѣева объ его теоріи «абсолютнаго интуитивизма»: онъ находитъ теорію Н. О. Лосскаго неопределенной и необоснованной въ самыхъ важныхъ пунктахъ (стр. 152), признаетъ недозволительною совершающую имъ передачу решенія существеннѣйшихъ для него вопросовъ экспериментальной психологіи и онтологіи будущаго, безъ всякой попытки съ его собственной стороны какъ-нибудь ихъ решить хотя бы и на почвѣ этихъ наукъ (стр. 153), противорѣчиваю (стр. 160), ведущей ко всякимъ несообразностямъ (стр. 163—164), догматичною (стр. 165, 246) и произвольною (стр. 247). Во всѣхъ этихъ приговорахъ я совершенно соглашаюсь съ нимъ. Но у меня является невольное недоумѣніе: если теорія Н. О. Лосскаго такова, зачѣмъ же автору было нужно такъ упорно обращаться къ нему и такъ неутомимо спорить съ нимъ? Я понялъ бы, еслибы С. А. посвятилъ идеямъ Н. О. Лосскаго нѣсколько страницъ первой части своего труда. Но вѣдь онъ подымаетъ съ нимъ запальчивые споры во второй и третьей части книги, тамъ, где ведется самостоятельное изслѣдованіе очень серьезныхъ и ответственныхъ вопросовъ. За утонченными опроверженіями мнѣній Н. О. Лосскаго, С. А. иногда забываетъ детально обосновать свои собственные выводы, нерѣдко въ очень спорныхъ пунктахъ. Характерный тому примѣръ представляетъ VI глава (стр. 150—178). Проблема интуиціи въ его построеніи имѣетъ основоположное значеніе. И вотъ въ главѣ, ей посвященной, онъ отдаетъ опроверженію Н. О. Лосскаго 15 стр., опроверженію Бергсона и Наторпа 5, а изложенію и мотивировкѣ собственныхъ взглядовъ только 7. А вопросъ, особенно въ той постановкѣ, какую даетъ ему С. А. Алексѣевъ, очень сложный и спорный. Можно ли удивляться, что черезъ это въ его собственныхъ взглядахъ остается много недосказанного, неяснаго, а иногда и голословнаго?

Другой недостатокъ критики С. А. Алексѣева я указалъ бы въ нѣкоторой неустойчивости употребляемыхъ имъ терминовъ,

которые оказываются однако критеріями для рассматриваемыхъ имъ направлений. Напримѣръ, имманентный взглядъ на познаніе онъ отожествляеть съ позитивизмомъ, трансцендентный взглядъ на него,—признающей существование вещей, независимыхъ отъ нашего сознанія и пониманія,—съ метафизическими воззрѣніемъ на него. До извѣстной степени это можно допустить, особенно если имѣть въ виду современныхъ представителей имманентизма, которые всѣ сходятся въ отрицательномъ отношеніи къ метафизикѣ. Но ужѣ гораздо болѣе сомнительнымъ представляется дальнѣйшее поясненіе, которое онъ дѣлаетъ на стр. 109: «позитивизмъ и метафизика есть лишь вариація старого противоположенія науки и теологии, гуманизма и теодицеи». А нѣсколько раньше на стр. 108, говорится: «что» эти призраки» (метафизическая идея) опять таки есть иѣчто вполнѣ опредѣленное, а именно философія религіи, понятая, какъ метафизическое богословіе,—это тоже должно быть ясно, если отвлечься отъ второстепенныхъ деталей и всмотрѣться въ основныя русла человѣческой исторіи».

Грудно было болѣе рѣшительно отожествить метафизику съ теологизмомъ и положительнымъ религіознымъ міросозерцаніемъ, а позитивизмъ съ ихъ непремѣннымъ отрицаніемъ. Странно, что С. А. не замѣтилъ, что этимъ вносится совсѣмъ новый смыслъ въ обычные и давно устоявшіеся термины, и что такое нововведеніе должно повлечь за собою едва ли зачѣмъ нужную пертурбацию въ философскій языкъ. Развѣ нельзѧ говорить о позитивизме въ теологии, и развѣ, съ другой стороны, античный атомизмъ, въ абсолютномъ смыслѣ понятый механическій натурализмъ, спинозизмъ, первоначальное фихтеанство, панлогизмъ Гегеля не метафизическая система? Развѣ метафизическая системы (въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова) въ новой Европѣ на добрыя двѣ трети не находятся въ самомъ явномъ столкновеніи съ теологическими доктринаами и съ положительными религіозными вѣрованіями? Конечно, никому нельзѧ запретить употреблять слова, какъ ему угодно. Но что же выигрываютъ читатели книги, если называть позитивистами: Ксенофана, Аристотеля, Спинозу, Гегеля, Шопенгауера, и провозгласить метафизиками чистой воды Локка, Берклия, шотландскихъ философовъ въ родѣ Рида и Освальда, Якоби, Гамана, Джемса и имъ подобныхъ? Я не знаю, сумѣютъ ли читатели въ такихъ обстоятельствахъ все время удерживать

въ памяти изобрѣтеннное С. А. новое значеніе старыхъ и знакомыхъ словъ,—я знаю только одно, что самъ авторъ этого не сумѣлъ. Уже на стр. 109 онъ называетъ Спинозу «явнымъ метафизикомъ», а на стр. 168 прямо опредѣляетъ метафизику, какъ знаніе о дѣйствительности, какова она виѣ человѣческой мысли. Мнѣ кажется, въ этомъ опредѣленіи онъ совершенно правъ: понятіе метафизики въ его обычномъ значеніи очень тѣсно сближается съ понятіемъ онтологіи. Но при чемъ же тутъ отожествленіе всякой метафизики съ теологическимъ міросозерцаніемъ? Развѣ грубый материалистъ, полагающій, что абсолютная матерія совершенно независима отъ его мысли и существовала раньше, чѣмъ какая-нибудь мысль возникла, не является убѣжденнымъ метафизикомъ, хотя онъ при этомъ отрицаetъ Бога самымъ рѣшительнымъ образомъ?

Все-таки я долженъ повторить, что критическая часть труда С. А. Алексѣева, несмотря на нѣкоторые недочеты, очень сильна и очень содержательна. Болѣе слабою мнѣ представляется положительная часть его изслѣдованія. По отношенію къ ней я выдвинулъ бы упрекъ въ нѣкоторомъ отсутствіи экономіи вниманія при рѣшеніи обсуждаемыхъ вопросовъ и даже въ невыдержанности плана. Книга г. Алексѣева напоминаетъ мнѣ прекрасное, удобно устроенное помѣщеніе, въ которое поставили много предметовъ роскоши, но куда не успѣли внести предметовъ первой необходимости. Я боюсь, что самое заглавіе нѣсколько расходится съ содержаніемъ сочиненія. Книга носитъ название: «Мысль и дѣйствительность». Изъ нея, въ самомъ дѣлѣ, можно довольно опредѣленно видѣть, какъ авторъ смотритъ на дѣйствительность. Хотя специально онъ только разсматриваетъ вопросъ о дѣйствительности внутренняго и виѣшняго опыта, но все же даетъ изложеніе (правда, только изложеніе, безъ подробнай мотивировки, которой нельзя было и требовать въ виду гносеологического характера задачи) основъ своего метафизическаго міросозерцанія. Онъ учитъ, что всѣ вещи состоятъ изъ матеріи и формы (стр. 281) и что даже Богъ не представляетъ изъ этого исключенія (стр. 284); матерія есть начало единства въ вещахъ (стр. 284); въ формѣ источникъ ихъ множественности и опредѣленности; духъ есть форма по преимуществу, тѣло есть матерія по преимуществу (стр. 283); матерія есть слѣпая, никуда не направленная мощь (стр. 281), не различимая въ своей сплош-

ности, (284) — напротивъ, духъ есть зрячее безсиліе, дающее цѣль и планъ дѣйствія для этой силы (стр. 283). Онтологическимъ понятіемъ, лежащимъ въ основѣ постиженія дѣйствительности, является понятіе *субстанціи*: въ немъ функція формы и функція матерія соединены между собою (стр. 286).

Все это интересно и оригинально своимъ разногласіемъ съ родоначальникомъ ученія о матеріи и формѣ Аристотелемъ, хотя далеко не всегда ясно. Что разумѣетъ авторъ книги подъ дѣйствительностью, все-таки видно. Въ менѣе благопріятномъ положеніи находится вопросъ о природѣ человѣческой мысли. Ему посвящаются только двѣ послѣднія главы, но и онѣ чрезмѣрно загромождены критикой чужихъ мнѣній (Гуссерля и Лосского) (XIV гл.) и обширной экскурсіей въ сторону частнаго вопроса объ условіяхъ достовѣрности математическихъ наукъ (XIII гл.). Вслѣдствіе этого рѣшеніе самаго основного вопроса, который, по содержанію темы изслѣдованія, долженъ былъ бы привлечь все вниманіе автора и стать на первый планъ, — вопроса о природѣ мысли въ ея общей познавательной дѣятельности и объ ея коренныхъ внутреннихъ свойствахъ, — оказывается едва намѣченнымъ, хотя, долженъ согласиться, намѣченнымъ интересно. Но что все-таки въ этомъ направленіи С. А. Алексѣевъ далъ гораздо менѣше, чѣмъ можно было ожидать, наилучшимъ тому свидѣтельствомъ служитъ 'трудность для читателя рѣшить для себя вопросъ: съ кѣмъ онѣ имѣетъ дѣло въ лицѣ автора книги, — съ *концептуалистомъ* или съ *номиналистомъ*? Между тѣмъ, въ различіи этихъ двухъ направленій заключается довольно существенное мѣрило для характеристики любого толкованія процессовъ разума. Самъ себя С. А. считаетъ концептуалистомъ, но нельзя не замѣтить, что его концептуализмъ, поскольку дѣло идетъ объ оцѣнкѣ основъ и окончательныхъ задачъ человѣческаго знанія, подозрительно близко напоминаетъ номинализмъ. Начать съ того, что самая *репрезентативность* знанія (т.-е. его стремленіе быть воспроизведеніемъ или отражениемъ дѣйствительности въ мысли), довольно явственно отожествляется у автора съ тенденціей къ переводу общихъ понятій и общихъ логическихъ отношеній на языкъ конкретныхъ представлений. Отвлеченные понятія и принципы для г. Алексѣева только путь и средство для достиженія *представляемо*; отвлеченное пониманіе есть нечто по существу вспомогательное,

только окольный подходъ,—въ лучшемъ случаѣ—зародышъ, эмбріонъ воспроизведенія чувственныхъ воспріятій. Можно привести много цитатъ, выражающихъ эту мысль. Уже во введеніи (стр. 13) говорится: «Въ общемъ едва ли можно оспаривать, что въ указанныхъ областяхъ познаніе и знаніе имѣютъ въ той или иной мѣрѣ *репрезентативный* характеръ. Въ немъ всегда *представляется* что-либо въ данный моментъ или вообще недоступное для человѣческаго воспріятія». «Съ пріобрѣтеніемъ этихъ (логическихъ) свойствъ научнос знаніе все болѣе и болѣе теряетъ свою репрезентативность и превращается наконецъ въ схемы логическихъ отношеній, не включающихъ почти ничего такого, что могло бы быть воспринимаемо и представляемо.... Однако... оно (знаніе) по существу представляетъ лишь *пути и средство*, для достиженія тѣхъ же самыхъ результатовъ воспроизведенія того или иного не даннаго или не могущаго быть даннымъ въ обычныхъ эмпирическихъ условіяхъ конкретнаго опыта, т.-е. опять таки чего-либо воспринимаемаго или представляемаго». Стр. 14: «Въ общемъ и цѣломъ познаніе, при всей отвлеченности и сверхъэмпиричности нѣкоторыхъ своихъ моментовъ, обращено всегда къ полнокровному опыту жизни, ему служить и ради него возникаетъ»... «Оно мирится съ отвлеченнымъ пониманіемъ лишь какъ съ неизбѣжностью и прибѣгаetъ къ нему какъ къ чему-то лишь вспомогательному». Стр. 361: «Общее представление «человѣкъ»—это нѣкоторый *живой рисунокъ* внутри сознанія, который можетъ ежемгновенно перевоплотиться во множество индивидуализированныхъ представлений «этихъ» людей». — «Отвлеченные понятія—это планы, чертежи, схемы, иногда лишь значки дѣйствительности. Что въ индивидуальномъ сознаніи можетъ возникнуть такой чертежъ, изображающій основныя черты какой-нибудь одной или многихъ формъ, это не болѣе удивительно, какъ то, что мы такой чертежъ рисуемъ на бумагѣ». Стр. 362: «Понятія—это организмы, порождающие постоянные конкретизаціи и индивидуализаціи своей природы въ представленіяхъ». Характерно, какъ С. А. Алексѣевъ при этомъ говоритъ о процессахъ абстракціи (стр. 363, 364): «Если мы можемъ нарисовать чертежи дома и схему человѣка, то почему же нельзя нарисовать чертежъ крыши, стѣны или одной колонны, изобразить одну лишь мускулатуру руки и т. п.? Абстракціи и представляютъ собою такія общности усъченныхъ частей, при-

знаковъ и свойствъ». — «Въ какое бы царство бытія или небытія ни помѣсить эти предметы, но именно абстракціи заставляютъ отнести туда кромѣ полныхъ идейныхъ организмовъ „человѣчности“, „растенія“ и т. п. и такія усѣченности, какъ «руки», „мускулы“, „зеленость“, „сѣрость“, „неряшливость“, „неудача“ и т. п.». Я не знаю, какой бы номиналистъ не подписался подъ этими разсужденіями?

А между тѣмъ г. Алексѣевъ очень колеблется. Онъ чувствуетъ, что такое рѣшеніе выходитъ слишкомъ прямолинейнымъ. Онъ дѣлаетъ самъ себѣ очень серьезное возраженіе (стр. 14). «Почти всякая наука имѣеть въ своемъ составѣ нѣчто, что въ одно и то-же время имѣеть и самостоятельную цѣнность конечнаго результата, и является столь чистой мыслью, которой въ сферѣ воспринимаемаго и представляемаго не можетъ быть найдено никакого эквивалента». Онъ на него отвѣчаетъ: «Съ этимъ въ извѣстномъ отношеніи нельзя не согласиться. Конечно, ничто представляемое не можетъ быть адекватно не только такимъ понятіямъ, какъ «интеллигibleный характеръ» или «Богъ», но даже «атомъ» или „тысячеугольникъ“. Однако и эти понятія не лишены общаго свойства всѣхъ познавательныхъ формъ относиться къ какому-то внѣшнему предмету познанія и какъ то посвоему его репрезентировать. Пусть эта репрезентациѣ невозможна въ смыслѣ обыкновенныхъ формъ представлениа, однако намъ всегда кажется, что въ нашихъ понятіяхъ мы имѣемъ все-таки какую-то возможность на что-то намекнуть и что-то обозначить такимъ образомъ, что этотъ намекъ и обозначеніе являются въ какомъ-то отношеніи замѣной самаго предмета».

Едва ли можно утверждать, что соображенія г. Алексѣева въ этомъ случаѣ облеклись въ опредѣленную форму, а между тѣмъ болѣе опредѣленнаго рѣшенія у него нѣть. Я просто не постигаю, какъ онъ не почувствовалъ, что здѣсь-то и лежитъ весь центръ проблемы? Какъ пропустить безъ вниманія, что наглядно непредставимы не только «Богъ» и «интеллигibleный характеръ», но что таково огромное множество нашихъ понятій, что въ извѣстныхъ отношеніяхъ таковы всѣ понятія,—что поэтому, чтобы настаивать на репрезентативномъ характерѣ нашей мысли, нужно прежде всего показать, что отвлеченнное, именно въ своей отвлеченностіи,—иначе идеальное, умопостигаемое, только мыслимое,—можетъ быть все-таки *репрезентацией* дѣйствительнаго,

внѣ мысли даннаго. Въ этомъ самая настоятельная и неотложная задача трансцендентной гносеологии, если она вообще способна оправдать себя. Мнѣ казалось бы, что уже наступило время относиться къ номиналистическимъ фантазіямъ съ нѣсколько болѣшимъ скептицизмомъ. Тонкость психологическихъ самонаблюденій вообще теперь очень повысилась и становится все труднѣе удовлетворяться при изображеніи нашего внутренняго міра старыми условными схемами. Да наконецъ, чтобы усомниться въ толкованіяхъ номиналистовъ, просто надо немножко посчитаться хотя бы съ экспериментальными изслѣдованіями Вюрцбургской школы. Впрочемъ, пусть не подумаетъ С. А. Алексѣевъ, что эти мои упреки относятся лично къ нему, и что я его считаю только за номиналиста. Напротивъ, онъ старается вырваться изъ узкихъ рамокъ номиналистической концепціи. Мнѣ представляется, что онъ даже видитъ вѣрный путь къ тому, указывая на огромное значеніе реального единства сознанія въ процессахъ мысли. Онъ говоритъ (стр. 368): «но и номинализмъ и Гуссерль одинаково не могутъ дать надлежащаго истолкованія общимъ значеніямъ и смысламъ, потому что они одинаково игнорируютъ ту почву, которая является истинной основой всякой мыслимой общности, а именно *реальное единство сознанія или «я»*. Но, къ сожалѣнію, все это лишь неиспользованные намеки. А въ такомъ изслѣдованіи, какое поставилъ себѣ цѣлью авторъ, нельзя было ограничиться одними намеками.

Такимъ образомъ вопросъ о природѣ мысли получилъ у г. Алексѣева рѣшеніе недоговоренное и даже тусклое. Зато у него очень выдвинуты нѣкоторые частные вопросы, которые смѣло могли бы не выступать такъ на первый планъ въ виду общности задачи его изслѣдованія. Къ числу такихъ вопросовъ я отношу проблему *наивнаю реализма*. Это проблема весьма модная, но именно поэтому ея значеніе чрезмѣрно преувеличивается. Психологически я понимаю, почему она у автора такъ выдвинулась впередъ; при его уклонѣ въ сторону номинализма, ему было очень дорого найти такие элементы чистаго опыта, которые были бы абсолютно вѣрными, а въ то же время и чувственно наглядными, показателями независимой реальности и дѣйствительныхъ свойствъ окружающихъ насъ вещей. Однако вопросъ о познаніи реальностью чувственныхъ воспріятій и ин-

тицій далеко не рѣшается и не покрывается. Авторъ самъ превосходно говоритъ (стр. 111): «Конечно,— если подъ ре-презентацией понимать лишь представливаніе дѣйствительности въ узкомъ смыслѣ слова, т.-е. воспроизведеніе ея въ системѣ цвѣтъ и звуковъ, то роль такого представливанія въ указанной области является въ общемъ ничтожной. Однако нѣтъ основа-ній видѣть въ представленіи единственную форму познанія, какъ репрезентативной функции». Допустимъ, въ самомъ дѣлѣ, что наивные реалисты правы и что мы чувственно воспринимаемъ самыя вещи въ ихъ подлинныхъ качествахъ, предопределется ли этимъ сколько нибудь рѣшеніе проблемы о достовѣрности знанія, а тѣмъ болѣе проблемы о природѣ мысли? Тогда оправ-дывается только голый опытъ; но показываетъ ли онъ, каковъ міръ въ его цѣломъ, какими законами онъ управляется и какія универсальныя начала осуществляютъ себя въ его бытіи и разви-тии? И при наивно-реалистическомъ толкованіи, чувственное вос-пріятіе говоритъ только о самомъ себѣ и о томъ, что въ немъ прямо и непосредственно содержится.

Удалось ли С. А. Алексѣеву оправдать наивный реализмъ? Онъ значительно смягчилъ обычныя формулы наивнаго реализма, и въ этомъ важное преимущество его взгляда. Но все-же, какъ мнѣ представляется, наивный реализмъ не сталъ оттого болѣе доказательнымъ ученіемъ. Въ аргументаціи г. Алексѣева столько спорного и въ психологическомъ и въ философскомъ отноше-ніи, что если бы я сталъ излагать всѣ возникающія сомнѣнія, мои возраженія слишкомъ бы разрослись. Поэтому я остановлюсь только на самомъ существенномъ. 1) Авторъ страннымъ образомъ ограничилъ вопросъ о правомѣрности наивнаго реализма только анализомъ зрѣнія и сведеніемъ свойствъ зрѣнія къ свойствамъ осознанія, какъ будто полагая, что тѣмъ самымъ вопросъ благо-получно разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ. Но развѣ и для осознанія вопросъ не остается во всей своей силѣ? Вѣдь надо вообще показать, что во всякомъ восприятіи какихъ бы то ни было чувствъ наше сознаніе непосредственно соприкасается съ самимъ предметомъ такъ, какъ онъ есть, и тамъ, где онъ есть. Между тѣмъ обоснованіе этого положенія въ его общемъ видѣ у г. Алексѣева едва ли гдѣ можно найти. 2) Отказываясь или, по крайней мѣрѣ, очень колеблясь признать транссубъективную реаль-ность чувственныхъ качествъ (какъ цвѣтъ, звукъ, запахъ, вкусъ),

Онъ тѣмъ болѣе настойчиво утверждаетъ, что формы наблюдаемыхъ тѣлъ мы воспринимаемъ совсѣмъ вѣрно. На какомъ основаніи онъ это утверждаетъ? Къ моему изумленію, я нашелъ у него въ пользу этого тезиса только одинъ отчетливый аргументъ (стр. 238): «Ощущимость вообще», поскольку она намъ говоритъ только о формахъ, можетъ быть признана именно тѣмъ содержаніемъ воспріятія, которое въ своей правдивости въ смыслѣ передачи транссубъективнаго ничѣмъ еще не опорочено, а потому должно быть признано областью правдиваго сообщенія о вѣшнемъ мірѣ». Но почему же неопороченное есть тѣмъ самыи абсолютно вѣрное, да и точно ли оно не опорочено? Вѣдь, казалось бы, самая простая соображенія говорятъ противъ слѣпого довѣрія нашимъ чувствамъ и въ этомъ отношеніи. Я не буду обращаться къ разнымъ патологическимъ случаямъ, но развѣ, напр., близорукій видитъ тѣ же самыи формы, что дальнозоркій? И если даже самый дальнозоркій человѣкъ возьметъ въ руки микроскопъ или телескопъ, развѣ онъ увидитъ тѣ же формы, какія видѣлъ простымъ глазомъ? Какъ часто гладкое ему представится бугристымъ и шероховатымъ,—одно сплошное вдругъ распадается на множество единицъ совсѣмъ неожиданнаго вида! А если онъ обратится къ физикѣ, онъ еще болѣе убѣдится, что воспринимаемыя имъ неподвижныя формы сплошныхъ предметовъ очень мало должны походить на тѣ вихри и облака электроновъ и атомовъ, изъ которыхъ состоять эти предметы по физическимъ теоріямъ. Отчего С. А. Алексѣевъ совсѣмъ не разсмотрѣлъ этихъ естественныхъ соображеній? 3) Меня еще болѣе удивило, что онъ совсѣмъ обошелъ молчаниемъ самое основное возраженіе противъ нумерического тожества между воспринимаемыми нами образами и находящимися вѣ нась предметами: то, что мы всегда воспринимаемъ предметы не въ ихъ настоящемъ, а въ ихъ прошломъ (близкомъ или отдаленномъ), и что поэтому мы воспринимаемъ въ предметахъ не то, что въ нихъ сейчасъ есть, и сплошь и рядомъ воспринимаемъ ихъ не тамъ, гдѣ они есть.

Мнѣ хотѣлось бы коснуться еще многихъ отдѣльныхъ пунктовъ въ трудѣ С. А. Алексѣева и болѣе всего по вопросамъ о реальномъ единствѣ сознанія и объ его протяженности, а также по вопросу объ интуитивныхъ основахъ математики и объ отсутствіи въ книгѣ ясно установленнаго различія между

интуитивной необходимостью аксиомъ и эмпирическими усмо-  
трѣніями связи между различными данными нашихъ чувствен-  
ныхъ воспріятій безъ всякаго сознанія ея необходимости. Но  
каждый изъ этихъ вопросовъ завлекъ бы меня слишкомъ да-  
леко. Поэтому я прямо остановлюсь на методологическихъ сто-  
ронахъ обсуждаемой работы. Мнѣ кажется, главный методо-  
логическій ея недостатокъ заключается въ томъ, что авторъ  
постоянно стремится обосновывать справедливость своихъ вы-  
водовъ не столько ихъ положительнымъ оправданіемъ отъ себя,  
сколько опроверженіемъ и критикой своихъ противниковъ. Че-  
резъ это критическій отдѣлъ сочиненія чрезмѣрно разрастается  
и переходитъ далеко за предѣлы его первой части. Было бы  
любопытно произвести общій подсчетъ, сколько страницъ въ  
главахъ второй и третьей части отведено авторомъ разбору чу-  
жихъ и сколько имъ оставлено на доказательство собственныхъ  
положеній. А вѣдь некоторые изъ этихъ главъ посвящены са-  
мымъ животрепещущимъ вопросамъ знанія. Оттого сосображенія  
г. Алексѣева оказываются недоговоренными, слишкомъ сжатыми,  
иногда противорѣчивыми. (Укажу характерный примѣръ въ уче-  
ніи о пространствѣ: на стр. 279 авторъ доказываетъ, что про-  
странство есть внутренняя связь вещей и что понятие о про-  
странствѣ, какъ чистой внѣположности, должно и мнимо; а на  
стр. 318—319 внутреннею связью жизни является уже время, а  
пространство (стр. 316) опредѣляется именно какъ *внѣположность*).  
Какъ объяснить этотъ недостатокъ? Боюсь, что на г. Алексѣева  
въ этомъ случаѣ оказалось роковое вліяніе его принципіальное  
убѣжденіе, что въ философіи нѣтъ и не можетъ быть обще-  
обязательныхъ построеній (стр. 3, 4, 5), что въ ней открыты  
всѣ возможности и поэтому все проблематично. При такомъ  
взглядѣ трудно уберечься отъ субъективизма. Когда читаешь  
разбираемую книгу, все время кажется, что авторъ гораздо бо-  
лѣе думаетъ о томъ, чтобы хорошенько разсказать свои взгляды,  
чѣмъ доказать ихъ. Какъ этому удивляться, разъ онъ убѣжденъ,  
что въ философіи ничего доказать нельзѧ? А вотъ въ силу  
опроверженій даже и философскихъ теорій онъ вѣритъ, —  
оттого у него такъ страшно разрослась критическая часть. Однакъ  
невольно подымается сомнѣніе: зачѣмъ вообще производить на-  
учные изслѣдованія въ области завѣдомо неразрѣшимыхъ во-  
просовъ?

Моими замѣчаніями я хотѣлъ только сказать, что поставленный г. Алексѣевымъ вопросъ еще не разрѣшенъ имъ. Но каковы бы ни были спорныя и даже слабыя стороны его книги, онъ все-таки внесъ очень много цѣннаго для его разрѣшенія. Можно только искренно пожелать, чтобы онъ продолжалъ свою работу, отбрасывая сомнительное, обосновывая и развивая несомнѣнное. По своимъ философскимъ талантамъ, С. А. Алексѣевъ можетъ сказать много нового и прочнаго. А главное, надо пожелать ему побольше вѣры въ философію и въ успѣхъ своего дѣла. Тогда онъ будетъ не только превосходный критикъ, но и творецъ въ избранной имъ науцѣ. Я знаю, какъ важно и плодотворно для философа внимательное размыщеніе надъ произведеніями великихъ умовъ и въ прошломъ и въ настоящемъ. И все-таки хочется дать автору совѣтъ: поменьше думать о чужихъ мнѣніяхъ, но зато быть требовательнѣе къ своимъ.

Л. Лопатинъ.